

Александр Куприн

Жидовка



Александр Иванович Куприн

Жидовка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472035

Аннотация

«Сани подбросило и стукнуло на ухабе, Кашинцев открыл глаза...»

Александр Иванович Куприн Жидовка

– Проехали, прое-е-хали! – жалобно зазвенел детский голосок.

– Направо! – крикнул сзади сердитый бас.

– Направо, право, прраво! – подхватили впереди весело и торопливо. Кто-то заскрежетал зубами, кто-то пронзительно свистнул... Стая собак залилась тонким, злобным и радостным лаем.

– О-о-о! Ха-ха-ха! – засмеялась и застонала толпа.

Сани подбросило и стукнуло на ухабе, Кашинцев открыл глаза.

– Что? – спросил он с испугом.

Но дорога была по-прежнему пустынна и безмолвна. Морозная ночь молчала над бесконечными, мертвыми, белыми полями. Полный месяц стоял на середине неба, и четкая синяя тень, скользившая сбоку саней, ломаясь на взрытых сугробах, была коротка и уродлива. Упругий, сухой снег скрипел и визжал под полозьями, как резиновый.

«Ах, ведь это снег скрипит», – подумал Кашинцев.

– Как странно! – произнес он вслух.

Услышав голос, ямщик обернулся назад. Его темное лицо,

с белыми от холода усами и бородой, было похоже на большую, грубую, звериную маску, облепленную ватой.

– Что? Еще две версты осталось. Немного, – сказал ямщик.

«Это снег, – думал Кашинцев, опять поддаваясь дремоте. – Это только снег. Как странно...»

– Странно, странно! – вдруг суетливо и отчетливо залепетал колокольчик на конце дышла. – Странно, странно, странно...

– Ай-ай-ай! Посмотрите же! – крикнула впереди саней женщина.

Толпа, которая тесно шла ей навстречу, вдруг заговорила разом, заплакала и запела. Опять, злобно волнуясь, залаяли собаки.

Где-то далеко загудел паровоз... И тотчас же, сквозь дремоту, Кашинцеву с необыкновенной ясностью вспомнился вокзальный буфет с его жалкой, запыленной роскошью: гроздь электрических лампочек под грязным потолком и на запачканных стенах, огромные окна, искусственные пальмы на столах, жесткие стоячие салфетки, мельхиоровые вазы, букеты из сухих трав, пирамиды бутылок, рюмки розового и зеленого стекла...

Это было вчера вечером. Товарищи-врачи провожали Кашинцева, только что получившего новое назначение – младшим врачом в отдаленный пехотный полк. Их было пять человек. Сдвинув вокруг углового «докторского» столика тя-

желые вокзальные стулья, они пили пиво и разговаривали с натянутой сердечностью и напускным оживлением, точно разыгрывали на спектакле сцену проводов. Красивый и самоуверенный Рюль, преувеличенно блестя глазами, кокетничая и оглядываясь по сторонам, чтобы его слышали и чужие, говорил фамильярным, фатовским тоном:

– Так-то, старик. Вся наша жизнь, от рождения и до самой смерти, заключается только в том, что мы встречаем и провожаем друг друга. Можешь записать это себе на память в книжку: «Вечерние афоризмы и максимы доктора фон Рюля». Едва он кончил говорить, у выходных дверей показался толстый швейцар, с лицом сердитого бульдога, затряс звонком и закричал нараспев, обрываясь и давясь:

– Пе-ервый звонок! Ки-ев, Жмеринка, Одесс! По-о-езд стои-ит на втор-ом путе!..

И теперь, сидя глубоко и неудобно в дергающихся санях, Кашинцев засмеялся от удовольствия, – так необыкновенно ярко и красочно вышло это воспоминание. Но тотчас же к нему вернулось утомительное, нудное впечатление бесконечности этой однообразной дороги. С того времени, когда утром, выйдя на маленькой железнодорожной станции, он сел в почтовые сани, прошло всего шесть-семь часов, но Кашинцеву постоянно представлялось, что он едет таким образом уже целые недели и месяцы, что он сам успел измениться, сделаться старше, скучнее и равнодушнее ко всему со вчерашнего вечера. Где-то на пути ему встретился нищий,

пьяный и оборванный, с провалившимся носом и с оголенным на морозе плечом; где-то артачилась и не хотела входить в запряжку длинная худая лошадь с задранной кверху шеей и с шоколадной, густой, как бархат, шерстью; кто-то, казалось, давным-давно сказал ему добродушно: «Дорога, пане, сегодня добрая, не оглянетесь, как докатите», – а сам Кашинцев в эту минуту засмотрелся на снежную равнину, которая была совсем алая от вечерней зари. Но все это смешалось, отошло в какую-то мутную, неправдоподобную даль, и нельзя было вспомнить, где, когда, в какой последовательности это происходило. По временам легкий сон смыкал глаза Кашинцеву, и тогда его отуманенному сознанию слышались странные визги, скрежет, собачий лай, человеческие крики, хохот и бормотание; но он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышле; и по-прежнему расстилались налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

– Вас куда везти, пане, прямо на почту или в заезд? – спросил ямщик.

Кашинцев поднял голову. Теперь он ехал по длинной, прямой улице какого-то села. Накатанная дорога блестела впереди в лучах месяца, как полированная синяя сталь. По обеим ее сторонам едва выглядывали из глубоких сугро-

бов темные, жалкие домики, придавленные сверху тяжелыми снежными шапками. Село точно вымерло: не лаяли собаки, огонь не светился в окнах, не попадались навстречу люди. Было что-то жуткое и печальное в этом безмолвии человеческих жилищ, которые, затерявшись в глубоких снегах, боязливо жались друг к другу.

– Куда это – в заезд? – спросил Кашинцев.

– А пан не знает? В заезд к Мойше Хацкелю... Там всегда паны стоят. Например, самовар, яишница, чего закупить... Заночевать тоже можно. Пять номерей...

– Ну, хорошо, поедем в заезд, – согласился Кашинцев.

Только теперь, при мысли о еде и теплом помещении, Кашинцев почувствовал, как сильно он озяб и проголодался. А низенькие, слепые, зарывшиеся в снег домики все шли навстречу и уходили назад, и казалось, им не будет конца.

– Когда же мы приедем? – нетерпеливо спросил Кашинцев.

– А скоро. Село великое, на версту с половиной... Вье, малы! – сипло и свирепо крикнул ямщик на лошадей и, встав, завертел над головой кнутом и задергал вожжи.

Вдали показалась красная светлая точка и стала расти, то прячась за темные невидимые преграды, то выныривая на мгновение из мрака. Наконец лошади, точно игрушки, у которых кончился завод, сами остановились у ворот заезжего дома и тотчас же расслабленно опустили головы к земле. Сводчатый полукруглый въезд тянулся черным, огром-

ным, зияющим коридором через весь дом, но дальше, во дворе, ярко освещенном луной, виднелись повозки с поднятыми вверх оглоблями, солома на снегу и очертания лошадиных фигур под плоскими навесами. Слева от ворот два окна, сплошь занесенные снегом, сияли теплым, невидимым, внутренним огнем.

Кто-то отворил дверь, пронзительно завизжавшую на блоке, и Кашинцев вошел в комнату. Белые облака морозного воздуха, которые, казалось, только этого и ждали, ворвались следом за ним, бешено крутятся. Сначала Кашинцев ничего не мог рассмотреть: стекла его очков сразу запотели от тепла, и он видел перед собою только два сияющих, мутно-радужных круга. Ямщик, вошедший сзади, крикнул:

– Слухай, Мовша, до тебя пан приехал. Где ты тут? Откуда-то поспешно выскочил низенький, коренастый светлородый еврей в высоком картузе и в вязаной жилетке табачного цвета. Он что-то дожевывал на ходу и суетливо вытирал рот рукой.

– Добрый вечер, пане, добрый вечер, – сказал он дружелюбно и тотчас же с участливым видом закачал головой и зачмокал губами. – Тце, тце, тце... Ой, как пан смерз, не дай бог! Позвольте, позвольте мне вашу шубу, я ее повешу на гвоздь. Пан прикажет самовар? Может, что-нибудь покушать? Ой, ой, как пан смерз!

– Благодарю вас. Пожалуйста, – проговорил Кашинцев.

От холода у него так съежились губы, что он с трудом ими

ворочал; подбородок сделался неподвижным и точно чужим, а собственные ноги казались ему такими мягкими, слабыми и нечувствительными, как будто они были из ваты. Когда его очки отошли в тепле, он оглянулся кругом. Большая комната, с кривыми окнами и земляным полом, была вся вымазана светло-голубой известкой, которая в иных местах отвалилась большими кусками, обнаружив переплет из деревянной драги. Вдоль стен тянулись узкие скамейки и стояли раскосые столы, с мокрыми и жирными от времени досками. Под самым потолком горела лампа-молния. Задняя, меньшая часть комнаты была отгорожена пестрой, ситцевой занавеской, из-за которой шел запах грязных постелей, детских пеленок и какой-то острой еды. Перед занавеской помещалась деревянная стойка.

За одним из столов, напротив Кашинцева, сидел, положив лохматую голову на расставленные локти, мужик в коричневой свитке и в бараньей шапке. Он был пьян тяжелым, бессильным опьянением, мотался головой по столу, икал и все время бурлил что-то невнятное хриплым, надсаженным, клопочущим от слюней голосом.

– Что вы мне дадите поесть? – спросил Кашинцев. – Я очень проголодался.

Хацкель поднял кверху плечи, расставил врозь руки; прищурил левый глаз и несколько секунд оставался в таком положении.

– Чего я дам пану поесть? – переспросил он с лукаво-про-

ницательным видом. – А что пан хочет? Можно достать все. Можно поставить самовар, можно заварить яйца, можно достать молока... Ну, вы сами понимаете, пане, что можно достать в такой паршивой деревне! Можно сварить куру, но только это будет очень долго времени.

– Давайте яйца, давайте молока. Еще что?

– Что еще-е? – как будто удивился Хацкель. – Я мог бы предложить пану фаршированную еврейскую рыбу. Но может быть, пан не любит еврейской кухни? Знаете, обыкновенная еврейская рыба, фиш, которую моя жинка готовит на шабес.

– Давайте и фиш. И, пожалуйста, рюмку водки. Еврей закрыл оба глаза, затряс головой и зачмокал с сокрушением.

– Водки нема, – сказал он шепотом. – Вы же знаете, как нынче строго. А пан далеко едет?

– В Гусятин.

– Пан, извините, служит по полиции?

– Нет, я доктор. Военный врач.

– Ах, пан – доктор! Это очень приятно. Поверьте моей совести, я очень жалею, что не могу вам достать водки. Впрочем... Этля! – крикнул Хацкель, отходя от стола. – Этля!

Он скрылся за занавеску и заговорил по-еврейски быстро, точно сердясь. И потом он несколько раз то появлялся в общей комнате, то опять исчезал и, видимо, очень суетился. В это время мужик, лежавший за столом, вдруг поднял кверху голову с раскрытым мокрым ртом и остекленевшими глаза-

ми и запел хриплым голосом, причем у него в горле что-то щелкало и хлюпало:

Ой, чи не мо-ожно б бу-у-уло...

Хацкель поспешно подбежал к нему и затряс его за плечо.

– Трохим... Слушайте, Трохеме... Я ж вас так просил, щоб вы не разорялись! Вон пан обижается... Ну, выпили вы, и хорошо, и дай вам бог счастья, и идите себе до дому, Трохим!

– Жиды! – заревел вдруг мужик страшным голосом и изо всей силы треснул кулаком по столу. – Жиды, матери вашей черт! Убь-бью!..

Он грузно упал головой на стол и забормотал. Хацкель с побледневшим лицом отскочил от стола. Его губы кривились презрительной и в то же время смущенной и бессильной улыбкой.

– Вот видите, пан доктор, какой мой кусок хлеба! – сказал он с горечью, обращаясь к Кашинцеву. – Ну, скажите мне, что я могу с этим человеком сделать? Что я могу? Этля! – крикнул он в сторону занавески. – Когда же ты наконец подашь пану щупака?

Он опять нырнул в отгороженную часть комнаты, но тотчас же вернулся с блюдом, на котором лежала рыба, нарезанная тонкими ломтями и облитая темным соусом. Он также принес с собою большой белый хлеб с твердой плетеной кор-

кой, испещренной черными зернышками какой-то ароматной приправы.

– Пане, – сказал Хацкель таинственно. – Там у жены отыскалось немного водки. Попробуйте, это хорошая фруктовая водка. Мы ее пьем на нашу пасху, и она так и называется пейсачная. Вот.

Он извлек из-за жилета крошечный узкогорлый графинчик и рюмку и поставил их перед Кашинцевым. Водка была желтоватого цвета, слегка пахла коньяком, но когда доктор проглотил рюмку, ему показалось, что весь его рот и гортань наполнились каким-то жгучим и душистым газом. Тотчас же он почувствовал в животе холод, а потом мягкую теплоту и страшный аппетит. Рыба оказалась чрезвычайно вкусной и такой пряной, что от нее щипало язык. «Как ее готовят?» – мелькнула было у Кашинцева опасливая мысль, но он тут же засмеялся, вспомнив один из знакомых ему вечерних афоризмов доктора фон Рюля: «Никогда не надо думать о том, что ешь и кого любишь».

А Хацкель стоял поодаль, заложив руки за спину. Точно угадывая, о чем думал Кашинцев, он говорил с угодливым и ласковым видом:

– Может, пану кажется, что это приготовлено как-нибудь грязно? Пес... никогда в жизни! Наши еврейские женщины все делают по святым книгам, а там уж все сказано: и как чистить, и как резать, и когда мыть руки. А если не так – это у нас считается грех. Пусть пан кушает себе на здоровье...

Этля, принеси еще рыбы!

Из-за занавески вышла женщина и стала сзади прилавка, кутаясь с головой в большой серый платок. Когда Кашинцев повернулся к ней лицом, ему показалось, что какая-то невидимая сила внезапно толкнула его в грудь и чья-то холодная рука сжала его затрепыхавшееся сердце. Он никогда не только не видал такой сияющей, гордой, совершенной красоты, но даже не смел и думать, что она может существовать на свете. Прежде, когда ему случалось видеть прекрасные женские головки на картинах знаменитых художников, он про себя, внутренне, был уверен, что таких правильных, безукоризненных лиц не бывает в натуре, что они – вымысел творческой фантазии. И тем удивительнее, тем неправдоподобнее было для него это ослепительно прекрасное лицо, которое он теперь видел в грязном заезжем доме, пропахшем запахом нечистого жилья, в этой ободранной, пустой и холодной комнате, за прилавком, рядом с пьяным, храпящим и икающим во сне мужиком.

– Кто это? – шепотом спросил Кашинцев. – Вот эта... – он хотел по привычке сказать – жидовка, но запнулся, – эта женщина?

– Кто? Это? – небрежно спросил Хацкель, кивнув головой назад. – Это, пане, моя жинка.

– Как она красива!

Хацкель коротко засмеялся и с презрением пожал плечами.

– Пан с меня смеется? – спросил он укоризненно. – Что такое она? Обыкновенная бедная еврейка, и больше ничего. Разве пан не видал в больших городах настоящих красивых женщин? Этя! – обернулся он к жене и проговорил что-то скороговоркой по-еврейски, от чего она вдруг засмеялась, блеснув множеством белых ровных зубов, и повела так высоко одним плечом, точно хотела потереть об него щеку.

– А пан холостой ни женатый? – спросил Хацкель с вкрадчивой осторожностью.

– Нет, я холостой. А что?

– Нет, я только так себе... Значит, пан холостой. А почему же пан, такой солидный и образованный человек, не захотел жениться?

– Ну, это длинная история... По многим причинам. Да, я думаю, еще и теперь не поздно. Не так уж я стар. А?

Хацкель вдруг придвинулся вплотную к доктору, оглянувшись с боязливым видом по сторонам и сказал, выразительно понизив голос:

– А может, вы, пане, заночуете у нас в заезде? Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, у меня всегда останавливаются самые хорошие паны: пан Варпаховский из Монастырища, пан посессор Луцкий, бывают из господ офицеров...

– Нет, мне надо торопиться. Некогда.

Но Хацкель с лукавым, проницательным и заманивающим видом, прищуривая то один, то другой глаз, продолжал настаивать:

– Лучше ж, ей-богу, заночуйте, пане. Куда пан поедет по такой холодюке? Дай мне бог не видать завтрашнего дня, если я говорю неправду!.. Послушайте только, что я вам скажу, пане доктор... Тут есть одна бывшая гувернантка...

Одна быстрая сумасшедшая мысль блеснула у Кашинцева. Он украдкой, воровато взглянул на Этлю, которая равнодушно, как будто не понимая, о чем идет разговор между ее мужем и гостем, глядела издали в запорошенное белое окно, но ему в ту же минуту стало стыдно.

– Оставьте меня в покое, уйдите! – резко приказал он Хацкелю.

Кашинцев, не столько по словам, сколько по выражению лица Хацкеля, понимал, о чем он говорит, но не мог рассердиться, как, вероятно, счел бы долгом рассердиться при других обстоятельствах. Теплота комнаты, после долгой холодной дороги, разморила и разнежила его тело. От выпитой водки голова тихо и сладко кружилась, кожа на лице приятно горела. Хотелось сидеть, не шевелясь, испытывая томное чувство сытости, теплоты и легкого опьянения, не думая о том, что через несколько минут надо опять садиться в сани и ехать бесконечной, скучной, морозной дорогой.

И в этом странном, легком и блаженном состоянии ему доставляло невыразимое удовольствие время от времени, как будто нечаянно, точно обманывая самого себя, останавливаться на прекрасном лице еврейки и думать о ней, но не мыслями, а словами, как будто разговаривая с каким-то

невидимым собеседником.

«Можно ли описать кому-нибудь это лицо? – говорил про себя Кашинцев. – Можно ли передать обыкновенным, бедным, повседневным языком эти изумительные черты, эти нежные и яркие краски? Вот она теперь повернулась почти прямо ко мне лицом. Как чиста, как изумительно изящна эта линия, что идет от виска к уху и опускается вниз, к подбородку, определяя щеку. Лоб низкий, заросший сбоку тонкими, пушистыми волосами, – как это прелестно, и женственно, и колоритно! Глаза огромные, черные, до того огромные и черные, что кажутся подрисованными, и в них, около зрачков, сияют живые, прозрачные золотые точки, точно светлые блики в желтом топазе. Глаза окружены темной, чуть-чуть влажной тенью, и как неуловимо переходит этот темный тон, придающий взгляду такое ленивое и страстное выражение, в смуглый, крепкий румянец щек. Губы полные, красные, и хотя в настоящую минуту сомкнуты, но кажутся раскрытыми, отдающимися, а на верхней губе, несколько затененной, хорошенькая черная родинка около угла рта. Какой прямой, благородный нос и какие тонкие, гордые ноздри! О, милая, прекрасная!» – повторял про себя с умилением Кашинцев, и ему хотелось заплакать от восторга и нежности, которые овладели им и стесняли ему грудь и щекотали глаза.

Сверх яркого и смуглого румянца щек видны были коричневые полосы засохшей грязи, но Кашинцеву казалось, что никакая небрежность не может исказить этой торжествую-

щей, цветущей красоты. Он также заметил, когда она выходила из-за прилавка, что нижний край ее розовой ситцевой короткой юбки был тяжел и мокр от грязи и шлепался при каждом шаге и что на ногах у нее были огромные истасканные башмаки с торчащими ушками; он заметил, что иногда, разговаривая с мужем, она быстро дергала себя за кончик носа двумя пальцами, делая при этом шмыгающий звук, и потом так же быстро проводила под носом ребром указательного пальца. Но все-таки ничто вульгарное, ничто смешное и жалкое не могло повредить ее красоте.

«В чем счастье? – спросил самого себя Кашинцев и тотчас же ответил: – Единственное счастье – обладать такой женщиной, знать, что эта божественная красота – твоя. Гм... пошлое, армейское слово – обладать, но что в сравнении с этим все остальное в жизни: служебная карьера, честолюбие, философия, известность, твердость убеждений, общественные вопросы?.. Вот пройдет год, два или три, и, может быть, я женюсь. Жена моя будет из благородной фамилии, тощая белобрысая девица, с жидкими завитушками на лбу, образованная и истеричная, с узким тазом и с холодным синим телом в пупырышках, как у ошипанной курицы, она будет играть на рояле, толковать о вопросах и страдать женскими болезнями, и мы оба, как самец и самка, будем чувствовать друг к другу равнодушие, если не отвращение. А почему знать, не заключается ли вся цель, весь смысл, вся радость моей жизни в том, чтобы всеми правдами и неправдами завладеть вот

такой женщиной, как эта, украсть, отнять, соблазнить, – не все ли равно? Пусть она будет грязна, невежественна, неразвита, жадна, – о, боже мой! – какие это мелочи в сравнении с ее чудесной красотой!»

Хацкель опять подошел, остановился около Кашинцева, засунув руки в карманы панталон, и вздохнул.

– А вы не читали, пане, что пишут в газетах? – спросил он с вежливой осторожностью. – Что слышно нового за войну?

– Да все по-прежнему. Мы отступаем, нас бьют... Впрочем, я сегодня газет не читал, – ответил Кашинцев.

– Пан не читал! Как жаль! Мы, знаете, пане, живем здесь в степи и ничего не слышим, что делается на свете. Вот тоже писали за сионистов. Пан читал, что в Париже собирался конгресс?

– Как же. Конечно.

Кашинцев внимательно поглядел на него. В нем, под внешней расторопной проницательностью, чувствовалось что-то замороженное, хилое, говорящее о бедности, приниженности и плохом питании. Самое жалкое впечатление производила его длинная шея, выходящая из гарусного шарфа, – худая, грязно-желтая; на ней, точно толстые струны, выступали вперед, по бокам глотки, две длинные, напряженные жилы с провалом посредине.

– Чем вы здесь вообще занимаетесь? – спросил Кашинцев, охваченный каким-то виноватым сожалением.

– Ну-ну! – Хацкель пожал плечами с безнадежным и пре-

зрительным видом. — Ну, чем может заниматься бедный еврей в черте оседлости? Крутимся как-нибудь. Покупаем и продаем, когда бывает базар. Отбиваем друг у друга последний кусочек хлеба. Эх! Что много говорить? Разве же кому интересно знать, как мы здесь страдаем?

Он устало махнул рукой и ушел за занавеску, а Кашинцев опять вернулся к прерванным мыслям. Эти мысли были похожи на те подвижные разноцветные полуслова, полуобразы, которые приходят к человеку утром, на границе между сном и пробуждением, и которые, пока не проснешься окончательно, кажутся такими тонкими, послушно-легкими и в то же время полными такой глубокой важности. Никогда еще Кашинцев не испытывал такого удовольствия мечтать, как теперь, когда, разнеженный теплом и сытостью, он сидел, опираясь спиной о стену и вытянув вперед ноги. Большое значение имела в этом удовольствии какая-то неопределенная точка на рисунке пестрой занавески. Нужно было непременно отыскать ее глазами, остановиться на ней, и тогда мысли начинали сами собою течь ровно, свободно и ярко, не задерживаясь в голове, не оставляя следа и принося с собою какую-то тихую, щекочущую радость. И тогда все исчезало в голубоватом, колеблющемся тумане: и оббитые стены заезжей комнаты, и покосившиеся столы, и грязный прилавок. Оставалось только одно прекрасное лицо, которое Кашинцев видел и которое чувствовал, несмотря на то, что глядел не на него, а на ту же неопределенную, неизвестную

ему самому точку.

«Удивительный, непостижимый еврейский народ! – думал Кашинцев. – Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг, сохранил свою мистическую азбуку, от самого начертания которой веет тысячелетней древностью! Что он перенес в дни своей юности? С кем торговал и заключал союзы, с кем воевал? Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Его история вся проникнута трагическим ужасом и вся залита собственной кровью: столетние пленения, насилие, ненависть, рабство, пытки, костры из человеческого мяса, изгнание, бесправие... Как мог он оставаться в живых? Или в самом деле у судьбы народов есть свои, непонятные нам, таинственные цели?.. Почему знать: может быть, ка-

кой-нибудь высшей силе было угодно, чтобы евреи, потеряв свою родину, играли роль вечной закваски в огромном мировом брожении?

Вот стоит эта женщина, на лице которой отражается божественная красота, внушающая священный восторг. Сколько тысячелетий ее народ должен был ни с кем не смешиваться, чтобы сохранить эти изумительные библейские черты. С тем же гладким платком на голове, с теми же глубокими глазами и скорбной складкой около губ рисуют мать Иисуса Христа. Той же самой безукоризненной чистой прелестью сияли и мрачная Юдифь, и кроткая Руфь, и нежная Лия, и прекрасная Рахиль, и Агарь, и Сарра. Глядя на нее, веришь, чувствуешь и точно видишь, как этот народ идет в своей умопомрачительной генеалогии к Моисею, подымается к Аврааму и выше, еще выше – прямо до великого, грозного, мстительного библейского бога!

С кем я спорил недавно? – вдруг вспомнилось Кашинцеву. – Спорил об евреях. Кажется, с полковником генерального штаба в вагоне? Или, впрочем, нет: это было с городским врачом из Степани. Он говорил: евреи одряхтели, евреи потеряли национальность и родину, еврейский народ должен выродиться, так как в него не проникает ни одна капля свежей крови. Ему остается одно из двух: или слиться с другими народами, рассосаться в них, или погибнуть... Да, тогда я не находил возражений, но теперь я подвел бы его к этой женщине за прилавком и сказал бы: вот он, поглядите, вот залог

бессмертия еврейского народа! Пусть Хацкель хил, жалок и болезнен, пусть вечная борьба с жизнью положила на его лицо жестокие следы плутовства, робости и недоверия: ведь он тысячи лет „крутился как-нибудь“, задышался в разных гетто. Но еврейская женщина стережет дух и тип расы, бережно несет сквозь ручьи крови, под гнетом насилия, священный огонь народного гения и никогда не даст потушить его. Вот я гляжу на нее и чувствую, как за ней раскрывается черная бездна веков. Здесь чудо, здесь какая-то божественная тайна. О, что же я, вчерашний дикарь, а сегодняшней интеллигент, – что я значу в ее глазах, что я значу в сравнении с этой живой загадкой, может быть, самой необъяснимой и самой великой в истории человечества?»

Кашинцев вдруг очнулся. В заезде поднялась суета. Хацкель метался от окна к окну и, прикладывая ладони к вискам, старался что-то разглядеть в ночной темноте. Этля с отвращением и досадой дергала за ворот пьяного мужика, который то подымал, то опускал красное, бессмысленное, опухшее от сна лицо с набрякшими под глазами гулями и дико хрипел.

– Трохиме, слушайте – ну! Трохи-им! Я ж вас прошу: встаньте! – нетерпеливо говорила еврейка, коверкая мало-русский язык.

– Ша! Пристав! – закричал вдруг испуганным шепотом Хацкель. Он скоро-скоро зачмокал губами, с отчаянием затряс головой и, стремительно бросившись к двери, распах-

нул ее как раз в тот момент, когда в нее входил высокий полицейский чиновник, освобождавший на ходу свою голову из густого бараньего воротника шубы.

– Слушайте ж, Трохим. Вставайте! – воскликнула Этля трагическим шепотом.

Мужик поднял налившееся кровью лицо и, перекосив рот, заорал:

Ой, чи не мо-о-ожно б...

– Эт-то что т-такое! – крикнул пристав, грозно выкатывая глаза. Он с негодованием сбросил баранью шубу на руки подбежавшему Хацкелю и, выпятив грудь колесом, сделал несколько шагов вперед великолепной походкой оперного полководца.

Мужик поднялся, шатаясь и задевая руками, ногами и туловищем за стол. Что-то похожее на сознательный испуг мелькнуло на его сизом, оплывшем лице.

– Вашесоко... пане... пане коханий! – забормотал он, колеблясь беспомощно на месте.

– Вон! – загремел вдруг пристав таким страшным голо-сом, что нервный Кашинцев вздрогнул и съежился за своим столом. – Сейчас вон!

Мужик качнулся было вперед и расслабленно протянул руки, чтобы поймать и поцеловать начальственную десницу, но Хацкель уже тащил его, схватив сзади за ворот, к дверям.

– Ты!.. – закричал пристав, сердито сверкая глазами на Этлю. – Водкой торгуешь? Беспатентно? Конокрадов принимаешь? См-мот-три! Я т-тебя зак-катаю!

Женщина уродливо подняла кверху плечи, совсем склонила набок голову и с жалостным и покорным выражением закрыла глаза, точно ожидая удара сверху.

Кашинцев почувствовал, что цепь его легких, приятных и важных мыслей внезапно разбилась и больше не восстановится, и ему стало неловко, стыдно перед самим собою за эти мысли.

– Нехай меня бог покарает, пане полковник! – клялась со страстной убедительностью Этля. – Дай мне бог ослепнуть и не видеть завтрашнего дня и моих собственных детей! Пан полковник сам знает, ну что я могу сделать, если к нам в заезд пойдет пьяный мужик? Мой муж больной человек, а я слабая, бедная женщина.

– Ну ладно! – сурово остановил ее пристав. – Будет. В это мгновение он заметил Кашинцева и тотчас же, победоносно и строго закинув вверх голову, напряжил грудь и размахнул рукой налево и направо свои прекрасные русые бакенбарды. Но вдруг на лице его показалась улыбка.

– Базиль Базилич! Старый крокодил! Какими попутными ветрами? – воскликнул он театрально радостным тоном. – Черт тебя знает, сколько времени не видались!.. Виноват, – круто остановился пристав у стола. – Я, кажется... обознался.

Он щегольски приложил ладонь к козырьку фуражки. Кашинцев, полупривстав, довольно неуклюже сделал то же самое.

– Простите великодушно... Принял вас за своего коллегу, почайновского пристава, – этокое фатальное совпадение. Еще раз – виноват... Впрочем, знаете, такое сходство формы, что-о... Во всяком случае, позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовеержец – Ирисов, Павел Афиногеныч.

Кашинцев опять встал и назвал себя.

– Если уж все так необычайно вышло, то, позвольте, уж присяду к вам, – сказал Ирисов и опять ловко прикоснулся к козырьку и прищелкнул каблуками. – Очень, очень приятно познакомиться. Эй, Хацкель, принеси из моих саней кожаный ящик, он в ногах под сиденьем. Извините, вы далеко изволите ехать, доктор?

– В Гусятин. Я только что назначен туда.

– А-а! В пехотный полк! Есть между офицерами претеплые ребята, хотя пьют, как лошади! Городишко паршивый, но по нашим местам в некотором роде, так сказать, резиденция. Значит, будем с вами встречаться? Оч-чень рад... А вы только что... ха-ха!.. были свидетелем отеческого внушения, которое я делал.

– Да... отчасти, – сказал, насильно улыбнувшись, Кашинцев.

– Чтоб делать-с... Чтоб делать... Такой уж у меня характер:

люблю построжить... Я, знаете, не охотник до всяких кляуз и жалоб и тому подобной дребедени – у меня своя собственная расправа-с.

Пристав был представительный, как говорят провинциальные дамы, красивый, рослый мужчина, с растущими в стороны лихими скобелевскими баками и высоким, белым, безмятежным лбом. Глаза у него были прекрасного голубого цвета, со всегдашним выражением томной и какой-то неприличной, не мужской, капризной усталости; все лицо имело нежный, ровный, фарфорово-розовый оттенок, а малиновые, гибкие губы постоянно кокетливо шевелились и растягивались, точно два подвижных красных червяка. Видно было по всему, что пристав Ирисов – местный красавец, молодчинище и сердцеед, бывший кавалерист, вероятно, игрок и кутила, который в состоянии не спать трое суток подряд и никогда не бывает пьяным. Говорил он быстро и отчетливо, делая преувеличенно внимательное лицо на слова собеседника, но, очевидно, слушая только самого себя.

– Я им всем отец, но отец строгий, – продолжал пристав, внушительно приподняв кверху указательный палец. – Поставь ящик на стол, Хацкель, вот так. Я строг, это действительно, я себе не позволю на шею сесть, как другие, но зато я знаю наизусть каждого из своих... хе-хе-хе... так сказать, подданных. Видали сейчас мужичонку? Это ореховский крестьянин Трофим, по-уличному Хвост. Вы думаете, я не знаю, что он конокрад? Знаю великолепно. Но до времени я молчу,

а в одно прекрасное майское утро – чик!.. и Трофим Хвост изъят из употребления. Вот поглядите вы на этого самого Хацкеля. Не правда ли, пархатый жидишка? А я, поверьте, знаю, чем он, каналья, дышит. Что? Неверно я говорю, Хацкель?

– Ой, боже мой, разве ж пан полковник может говорить неправду! – выкрикнул Хацкель с подобострастной укоризной. – Мы все, сколько нас есть, бедных, несчастных еврейчиков, постоянно молимся богу за пана пристава. Мы так и говорим промеж себя: «Зачем нам родной отец, когда наш добрый, любимый господин пристав нам лучше всякого родного отца?...»

– Видали? – небрежно спросил пристав, указав через плечо большим пальцем на Хацкеля и значительно сощурился. – Глас народа! Но вы не беспокойтесь, я их вот где держу. Что? Правду я сказал?

– Что я буду на это говорить? – Хацкель весь сжался, присел почти на корточки и протянул вперед руки, точно отгаликивая от себя какое-то чудовищное, несправедливое обвинение. – Мы еще не успеем что-нибудь подумать, а уж господин пристав наперед все знает!

– Слыхали? – спросил коротко Ирисов. – Прошу, сказал Собакевич, – произнес он, указывая на раскрытый поставец. – Не прикажете ли жареной домашней утки? Шикарная утка!.. А это вот зубровка. Пирожки с рыбой, луком. Здесь ром. Нет, вы не сомневайтесь, настоящий ямайский ром и

даже пахнет клопами... А это – вы только, пожалуйста, надо мной не смейтесь, – это шоколад. Так сказать, дамское развлечение. Рекомендую вам: в дороге – самое питательное средство. Это уж я узнал, так сказать, из печального опыта, по роду своей неблагодарной службы. Зимой, случается, во время метели в такое место тебя занесет, что торчишь двое суток и корки хлеба ни за какие деньги не допросишься. Но что я болтаю? Пожалуйста...

Кашинцев вежливо отказывался от угощения, но пристав проявил самую энергичную настойчивость. Пришлось выпить рюмку рома, от которого пахло чем угодно, только не ромом. Кашинцеву было грустно, и стеснительно, и тоскливо. Украдкой он взглядывал иногда на Этлю, которая шепотом оживленно разговаривала за прилавком со своим мужем. Фантастическое обаяние точно сошло с нее. Что-то жалкое, приниженное, ужасное своей будничной современностью чувствовалось теперь в ее лице, но оно все-таки было по-прежнему трогательно прекрасно.

– А... а! Вот вы куда нацелились! – лукаво сказал вдруг пристав, прожевывая курицу и сочно шевеля своими гибкими, влажными губами. – Хорошенькая жидовочка. Что?

– Необыкновенно красива. Прелесть! – невольно вырвалось у Кашинцева.

– Н-д-а... Товар... Н-но!.. – Пристав развел руками, деланно вздохнул и закрыл на секунду глаза. – Но ничего не поделаешь. Пробовали. Нет никакой физической возможно-

сти. Нельзя... Хотя видит око... Да вот, позвольте, я его сейчас спрошу. Эй, Хацкель, кимёр...

– Ради бога... Я вас прошу! – умоляюще протянул к нему руку Кашинцев и встал с лавки. – Я вас убедительно прошу.

– Э, пустяки... Хацкель.

В эту минуту отворилась дверь, и в нее вошел очередной ямщик с кнутом в руке и в шапке, в виде конфедератки, на голове.

– Кому из панов кони до Гусятина? – спросил ямщик.

Но, увидев пристава, он торопливо сдернул шапку и гаркнул по-военному:

– Здравием желаем вашему высокоблагородию!

– Здравствуй, Юрко! – снисходительно ответил Ирисов. – Эх, посидели бы еще немного, – с сожалением сказал он доктору. – В кои-то веки удастся поболтать с интеллигентным человеком!

– Простите, некогда, – говорил Кашинцев, поспешно застегиваясь. – Сами знаете, долг службы. Сколько с меня следует?

Он расплатился и, заранее вздрагивая при мысли о холоде, о ночи, об утомительной дороге, пошел к выходу. По наивной, сохранившейся у него с детства привычке загадывать по мелким приметам, он, берясь за скобку двери, подумал: «Если она поглядит на меня, то исполнится». Что должно было исполниться – он сам не знал, так же как не знал имени той скуки, усталости и чувства неопределенного разочарова-

ния, которые теперь его угнетали. Но еврейка не оглянулась. Она стояла, повернувшись к нему своим чудесным нежным профилем, ярко озаренная светом лампы, и что-то делала на прилавке, опустив вниз глаза.

– До свидания, – сказал Кашинцев, отворяя дверь. Упругие облака пара ворвались с улицы, застлали прекрасное лицо и обдали доктора сухим холодом. У крыльца стояли, уныло понуриив головы, почтовые лошади.

Миновали деревню, переехали по льду через речку, и опять потянулась длинная, тоскливая дорога с мертвыми белыми полями направо и налево. Кашинцев задремал. Тотчас же заговорили и запели странные, обманчивые звуки спереди и сзади саней и сбоку их. Залилась визгом и лаем собачья стая, зароптала человеческая толпа, зазвенел серебряный детский смех, залепетали, как безумные, бубенчики, выговаривая отчетливые слова. «Первое дело – строгость, строгость!» – крикнул голос пристава.

Кашинцев ударился локтем о бок саней и очнулся. По обе стороны дороги бежали ему навстречу высокие, точно белые лапы, отягощенные снегом ветви. Между ними, далеко впереди, мерещились стройные тонкие колонны, каменные ограды и балконы, высокие, белые стены с черными готическими окнами, фантастические линии какого-то спящего, заколдованного дворца. Но сани заворачивали по изгибу дороги, и призрачный дворец исчезал, обращаясь в темные ряды деревьев и в навесы из оснеженных веток.

«Где я? Куда я еду? – спросил себя Кашинцев с недоумением и испугом. – Что со мной только что было? Такое большое, радостное и важное?»

В его памяти с поразительной ясностью всплыло прелестное женское лицо, нежный очерк щек и подбородка, влажные, спокойно-страстные глаза, прекрасный изгиб цветущих губ... И вдруг вся его собственная жизнь, – и та, что прошла, и та, что еще лежала впереди, – представилась ему такой же печальной и одинокой, как эта ночная дорога, с ее скукой, холодом, пустотой и безлюдьем, с ее раздражающими сонными обманами.

Мимоходом властная красота чуждой незнакомой женщины осветила и согрела ему душу, наполнила ее счастьем, чудными мыслями и сладкой тревогой, но уже пробежала, исчезла позади эта полоса жизни, и о ней осталось только одно воспоминание, как о скрывшемся вдали огоньке случайной станции. А впереди не видно другого огня; лошади бегут мерной рысью, и равнодушный ямщик – Время – безучастно дремлет на козлах.